

Р. Я. Клейман

**ВИНЬЕТКА НА КСЕРОКСНОЙ БУМАГЕ
К «ИДИОТУ» ДОСТОЕВСКОГО,
ИЛИ АПОЛОГИЯ CAUSERIE
(Юбилею прибытия поезда посвящается)**

До недавнего времени история искусства, в частности история литературы, была не наукой, а *causerie*¹. Следовала всем законам *causerie*. Бойко перебегала от темы к теме, от лирических словоизлияний об изяществе формы к анекдотам из жизни художника, от психологических трюизмов к вопросу о философском содержании в социальной среде. Говорить о жизни, об эпохе на основании литературных произведений — такая благодарная и легкая задача: копировать с гипса проще и легче, нежели зарисовывать живое тело. *Causerie* не знает точной терминологии. Напротив, разнообразие наименований, экивокация, дающая повод к каламбурам, — все это часто придает большую прелесть разговору...

*Р. Якобсон.
О художественном реализме.
Прага, 1921*

В конце ноября, в оттепель, часов в девять утра, поезд Петербурго–Варшавской железной дороги, как известно, на всех парах подходил к Петербургу... Специалисты знают, что это случилось 27 ноября 1867 года, в среду.

Сто тридцать пять лет прошло, а поезд мчит и мчит сквозь мглу и изморось, сквозь пространство и время; а за окнами — все мрак и вихорь, и хоть убей, пути не видно, так что в десяти шагах, вправо и влево от дороги, трудно разглядеть хоть что-нибудь. И мчится в неизвестность поезд, в котором под стук колес и блики светотеней непостижимо, необъяснимо сопрягаются самые разные события, персонажи и судьбы; и уже трудно определить, что было раньше, а что потом, и где кончается словесность и начинается живая жизнь...

¹ болтовней (франц.).

И бродит из вагона в вагон, из эпохи в эпоху князь-Христос Лев Николаевич Мышкин, вновь и вновь переживая дежа вю и пытаясь соединить собой распавшуюся связь времен. Потому что генеральша Епанчина в конце концов увезла с собой князя из швейцарской клиники в Россию, — дескать, здесь по крайней мере над этим бедным хоть по-русски поплакать можно. А вся эта заграница, вся эта ваша Европа, все это одна фантазия, — хлеба как следует испечь не могут, зиму, как мыши в подвалах, мерзнут...

А может, этот бесконечный спектакль — инсценировка «Жития великого грешника», только вместо монастыря давно задуманный конклав происходит в поезде; или не спектакль, а синематограф, новое изобретение братьев Люмьер, такое, знаете ли, «Прибытие поезда» по-русски. Смотрите, слушайте: вот поезд прибыл в Павловск, и выплывает из мглы дирижер во фраке, — это оркестр в павловском воксале исполняет «Попутную песню». И быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле... Но тайная дума быстрее летит, и сердце, считая мгновенья, стучит. Коварные думы мелькают дорогой, и шепчешь невольно: «О Боже, как долго»...

Это между Питером и Царским Селом долго? Ах, Нестор Васильевич, демократ вы наш верноподданный, как же это вас осенило, как это вы все гениально угадали, — и тайную магию поезда, и думы коварные, и тоску железную, дорожную, — озарение на вас вдруг снизошло, что ли? не иначе... Воистину, за это многое простится вам: и «рука Всевышнего» пресловутая, и зависть к Пушкину откровенная, и крутые загулы в духе «новых русских»...

А поезд мчится дальше в чистом поле, и из тьмы в вагоне возникает вечный Веничка Ерофеев, с пьяной убежденностью внушая Мышкину: «Ты ведь, князь, совсем едешь не в ту сторону! Ну прямо как Минин и Пожарский! Надо поворачивать на Курский вокзал! В Петушки же едем!! Вот куда!!! И немедленно выпьем, — «Слезу комсомолки», например!»

Веня, Веничка, светлая душа, Москва-Петушки, Любани-Пешки, а знаешь, как смертельно жжет в груди и в горле страшный русский коктейль под названием «царская водка»? Постойте, Александр Николаевич, не пейте, остановитесь, погодите же, послушайте, Катоны нынче не в чести... Но не остановить, не слышит сквозь стук колес, и только корчит-ся в припадке, задыхаясь, князь, и смертной мукой перехватывает у Вени Ерофеева горло...

Какой-то мальчик-гимназист в поезде, монотонно повторяя, учит наизусть: «Сбились мы, что делать нам? Сбились мы, что делать нам?» — а его младший братишка, явно томясь дорожной скукой, уже в который раз занудно спрашивает: «Кто построил эту железную дорогу, ну кто построил эту железную дорогу?» Ему никто не отвечает, и он продолжает ныть, пока, наконец, сердобольный Веничка с поклоном не возвестит ехидно-каноническое: «Граф Петр Андреевич Клейнмихель, душечка».

И вновь стучат, стучат колеса, мелькают светотени, бродит по вагонам Мышкин... Стриженная курсистка с пахитоской в нервных тонких пальцах читает нараспев: «Под насыпью, во рву некошеном, лежит и смотрит как живая, в цветном платке, на плечи брошенном, красивая и молодая...»

И уже ничего не изменить в этой книге, исполненной тревог, обманов, горя и зла, потому что Анна Аркадьевна едет с Вронским сквозь метель, а страшный мужичок неотвратно склонился над чем-то железным... впрочем, может, это не мужичок, а старушонка в салопе беззвучно хохочет над нами... за окном бежит сквозь мглу по осенней платформе юная Катюша Маслова, а в освещенном купе случайный попутчик слушает исповедь о «Крейцеровой сонате»...

И снова блики, снова стук колес. Господа газетчики, не толпитесь, поезд прибыл на станцию Астапово по расписанию, ваше сиятельство, пожалуйста, милости просим, какая честь, дозвольте ручку поцеловать; нет, состояние все то же, без улучшения... Боже мой, ну дайте же ему хоть умереть спокойно; да ведь вы звери, господа!

А в вагоне третьего класса чеховского типа интеллигент в пенсне читает попутчикам газету: «Вчера, 30 ноября 1909 г., в половине восьмого вечера на ступенях подъезда Царскосельского вокзала скоропостижно скончался от паралича сердца инспектор Петербургского Учебного округа И.Ф. Анненский. Похороны состоятся 4 декабря в Царском Селе». Ноябрь — преддверье российской словесности. Нивы печальные, снегом покрытые...

А поезд мчится, и князь снова бредет из одного вагона в другой; следующий вагон оказывается теплушкой, там красноармейцы хором поют: «Наш паровоз, вперед лети...» — и с простодушной щедростью поят гостя кипятком; с одним из них он меняется крестами, хотя тот и уверяет, что Бога нет и все дозволено, а медный крестик — это так, память о покойной матушке... Рядом — другая теплушка, в ней едут зеки в Сибирь, и Мышкин вдруг рассказывает им старую каторжную историю про орла и про то, что жизнь везде жизнь, что быть *человеком* между людьми — вот в чем жизнь...

Погодите, быть может, все это — просто болезненный бред Мышкина? Ведь давно замечено, что в болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенной яркостью. Слагается иногда картина чудовищная, но с такими тонкими, неожиданными подробностями, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу... И потому, когда князь в кошмаре дежа вю опять разобьет злополучную вазу, то будет ему страшное видение: зловещий гриб над мегаполисом и самолет, пронзивший небоскреб. И снова разорвет ночную тишину вагона леденящий душу вопль падучей...

А где-то далеко, в Японии, уже отключился атомный кошмар, и тихие снежинки сказочно красиво кружатся над катком. Так похоже на Россию, только все же не Россия... и стучат, стучат колеса, повторяя невесть откуда возникшее странно притягательное слово: додескадэн, додескадэн, додескадэн...

А на рассвете над городом опять тащилась серая муть туманов... Лица у всех в этом мутном утре были желты. В этот час к вокзалу, куда приходят поезда с юга, пришел поезд командарма Гаврилова. И опять все повторилось, — утренний вокзал, серо-желтый туман, потом опять мокрый снег, ночь, улица, фонарь, аптека, и опять бесовское наваждение непогашенной луны... И бешеный бег автомобиля, и быстрее, шибче воли поезд мчится в чистом поле ... Куда же несешься ты? Дай ответ! Не дает ответа...

Так, может, попытаться остановить этот бесконечный бег, соскочить с поезда; или сказать больным, притвориться рассеянным, — ведь рассеянность, как справедливо заметил Лебедев, очень и очень свойственна человеку, так сказать, от излишка воображения... И укрыться от всех, сесть в отцепленный вагон, а потом выждать с безумно бьющимся сердцем паузу и спросить в тщетной надежде: это что за остановка, Бологое или Поповка? А вдруг получится, — как знать: ложь ложью спасается... Но нет, не спасешься, не скроешься, не обманешь судьбу; и с платформы говорят: это город Ленинград... А зеваки хохочут: глядите, глядите, вместо шляпы на ходу он надел сковороду! Да не сковороду, добрый человек, неужто непонятно, ведь это медный таз цирюльника Карраско; вот и Лизавета Прокофьевна тоже дразнится: дескать, мерзкая шляпенка, мерзкая шляпенка... Ну, да ей можно, она ведь, по сути, совершеннейший ребенок; а что другие смеются — это ничего, пусть, ведь Дон-Кихот и должен быть чуточку смешон, не так ли, игемон?..

Но что это? Почему дите плачет? Тише! Не разозлите конвой! В этом вагоне едут дети из варшавского Дома Сирот, и маленькая девочка с рыжими косичками тихо всхлипывает в углу: «Где пан Учитель? Он так давно вышел с немецким офицером, а вдруг он уже не вернется, мне страшно, я боюсь...» Другие малыши тоже начинают шмыгать носами.

Неожиданно в вагон врывается Мышкин: «Я здесь, дети, не надо плакать, все хорошо, я с вами!» — и они бросаются к нему, без колебаний узнав в нем Учителя... Малыши просят сказку, и он рассказывает им печальную историю Мари, а поезд везет их всех в ночь, в Треблинку, в вечность, и Мышкин — Корчак в очередной раз отказывает немецкому офицеру, который снова предлагает спасти ему жизнь — без детей, натюрлих... А поезд мчит сквозь толщу лет, и на рассвете доктор Рошаль выводит детей из мюзикла «Норд-ост», — или это доктор Корчак? А может, доктор Гааз, в утреннем тумане не разглядеть лица, хорошо виден только старенький швейцарский плащ, подарок доктора Шнейдера...

А вот и финальная сцена, вот и развязка, господа: поезд Петербургско-Варшавской железной дороги снова прибыл в Петербург. Все, как водится, устали, все назяблись, все лица бледно-желтые, под цвет тумана... Начинает идти мокрый снег, он падает совсем прямо, без ветру, и сквозь него тускло светятся непогашенные газовые фонари. В тумане появляется шарманщик с девочкой в кринолине, в мантильке, в перчатках и в шляпке с огненного цвета пером. У них, как и у всех прохожих, бледно-зеленые и больные лица. Уличным, дребезжащим, но довольно приятным и сильным голосом девочка поет старый чувствительный романс о том, что многое вспомнишь родное, далекое, слушая ропот колес непрерывный...

Падает мокрый снег. Мчится поезд... и все мы обречены навеки мчаться в нем. Судьба у нас, знать, такая. А может, в этом и спасение наше? Господа, этот поезд — это что-то ужасно похожее на жизнь, на нашу с вами жизнь. Быстро лечу я по рельсам чугунным, думаю думу свою...

*Ноябрь 2002 г.
Поезд Кишинев — Санкт-Петербург*